

Уже поздно вечером подходили мы к ним.

Стемнело, на мачту подняли фонарь, и палуба опустела. Стало холодно слегка туманно, и, оглядываясь назад, к востоку, я видел совсем морскую картину.

Теперь уже не видно было очертаний берегов, синий Днепр слился с мутной синевой темной южной ночи. Ночной ветер разводил большую зыбь; Днепр волновался, и казалось, что вся эта туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом морской дали; зыбко переливались там, вдали, бледно-зеленые огни уже невидимого парохода, который мы встретили... Наконец, потонули в этом холодном хаосе и они...

А спереди, заслоняя еще брезживший свет заката, надвигались на нас высокие горы. Я ждал, что на самом высоком пункте черных гор, на бледном фоне зари, я увижу, как простертые руки, высокое распятие. Но нет, могила Шевченко находится ниже, на полугоре. Великий поэт почивает скромно... И я старался разглядеть в темноте эту могилу и не мог. Только чувствовал ее близость. Горы надвигались все ближе и ближе, черный мрак как бы плыл от них... У меня захолонуло сердце, когда мы, наконец, прошли под самыми горами, и пахнуло, так близко пахнуло величавым угрюмым молчанием, вечным покоем этого великого места... Холодом и мраком закрылась в эту ночь могила поэта...

Почти всю ночь я без сна лежал в темной каюте. Как в гробу, было темно в ней.. Я был взволнован... И этот мрак, и ровное покачиванье — казалось мне, что я в могиле и вся земля тихо качается,— и этот ровный-ровный, однообразный шорох, непрерывный шорох, плеск и шум днепровских волн, бегущих у изголовья,— еще более странно настраивали и волновали меня...

Там, на горах, над угрюмым Днепром, в темноте глубокой ночи могила молчала вечным молчанием!..

Вечный покой тебе, великое сердце!..

<1895>

«Полтавские губернские ведомости» (часть неофициальная), 1895, № 142, 5 июля. Подпись: Ив. Бунин. Воспроизведено (с отдельными неточностями): «Дон», 1965, № 8.

¹ Строка из украинской народной песни «Зібралися всі бурлаки...»

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

I. В ПОГОДУ

Перед вечером надвинулись тучи, налетел в потемневшем воздухе вихрь и зашумел проливной дождь.

Но на закате снова внезапно ударили сквозь тучу ослепительные стрелы солнца и ливень засверкал и затрепетал в их золотистом блеске... Потом туча медленно растаяла и засинело голубое, ясное небо.

Дождь перестал.

Зелень дышала яркая, молодая, обновленная. Весело защебетали птицы. Ласточки, упиваясь безотчетной радостью, тонули в чистом воздухе. И солнце догорало тихо и безмятежно. Наступила заря, вся наполненная свежестью и благоуханием. Отражая ее переливы, как зеркало, стоял затон реки у подножия старого парка. В прозрачном вечернем воздухе купались вершины столетних деревьев, а тополи замирали среди них зелеными обелисками... И всем было хорошо в этот теплый летний вечер.

Гибкая и упругая змея выползла из-под корня и беспомощно развила свои кольца. Ее еще пригревало солнце, сквозившее на сухую, усыпанную коричневой хвоей тропинку между стволами елей. И тихо пошевеливая хвостом, змея почти с умилением думала:

— Ах, как хорошо жить на свете! И как мало еще умеют у нас ценить природу! Право, одна я изящна среди всех этих скучных обитателей парка, одна я умею тонко и изящно чувствовать. Говорят, я коварна и безжалостна... Что ж, с точки зрения буржуазной морали и добродетели они правы... Но я горжусь этим! Только мне доступна сладость утонченных наслаждений, только во мне их вкус и благородные страсти!

Жаба сидела на безобразном водяном пне, на корнях затонувшей ракиты. Вся она отражалась в зеркальной воде, всю ее обнимала теплая влага реки. И к этому наслаждению присоединялось еще чувство сытости. Под ней синела глубина отраженных небес — чистый и ясный лик природы, — под ней светились розовые краски заката, но дело было не в них, а в ней самой, в жабе, и, прикрывая глаза, жаба думала:

— В сущности, одна я благоразумна, никому не желаю зла и умею ценить природу. Зачем лицемерить перед собой? Я недаром пользуюсь почетом, я недаром представительна и богата. Есть, конечно, низкие душонки, завидующие мне, злословящие меня, но это всегда так бывало. Зависть на все способна. А в чем же, собственно, меня можно упрекнуть? И может ли тот, кто так чувствует, кто так добр и благожелателен ко всем, быть дураком?

Улитка лежала в траве и наслаждалась сыростью. Ей было тоже хорошо, очень хорошо!

— Говорят, что я скрытная, угрюмая, неподвижная, — думала она. — Не отрицаю, — я скрытна, но это удел всех глубоких натур. Я неподвижна, — но, позвольте спросить, куда, собственно, спешить-то? «Вперед, вперед!» — а куда вперед — неизвестно. И главное — зачем? Людей, подобных мне, тоже презрительно называют «людьми в футляре», и так далее, но что же из этого остроумия следует? Почему футляр так плох? Да и неправда, — в хорошую погоду и в безопасном месте и я вовсе не прочь погулять, полюбоваться — и все такое...

— Да, — прибавила она после некоторого размышления, — моя скрытность и есть именно признак глубокой, благонамеренной природы.

— Совершенно верно! — крикнула ей с сухого дерева ворона, приговляясь вздремнуть до рассвета. — Вот и про меня говорят, что я каркаю разные неприятности. Однако же я вот молчу и люблюсь закатом, — значит, все это ложь, бессовестная ложь!

Водяная лилия наклоняла свою нежную головку, отражаясь в воде. У нее было тоже тонкое и хорошее настроение. Но она не думала, что она благородная натура. Мимо нее проходили люди, любовались ее серебристым венчиком, стрекозы пели ей звонкие и страстные песни... Но она цвела стыдливой, задумчивой красотой, она любовалась не собой, а серебристым серпиком молодой луны, показавшейся над парком, алыми пятнами заката, сквозившими за ельником, зелеными камышами, дремавшими вокруг нее...

Скептик жук угрюмо гудел, перелетая по прибрежной аллее и порой опускаясь на землю. Он ко всему прислушивался, он все замечал, долго наблюдал и приглядывался ко всему окружающему с холодным, и, как он думал, беспристрастным спокойствием. И когда все замолкло и уже стало задремывать, улыбнулся хмуро и презрительно и с расстановкой промолвил:

— Так, так! Очень, очень приятно послушать вас, друзья мои! Как вы все прекрасны, как вы тонко чувствуете, как умно и добродушно рассуждаете! Что это случилось сегодня с вами? Не скажете ли еще чего-нибудь?



РИСУНОК А. М. ВАСНЕЦОВА В АЛЬБОМЕ, ПОДАРЕННОМ БУНИНУ ЧЛЕНАМИ «СРЕДЫ»
ПО СЛУЧАЮ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тушь, перо, 1912

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Он помолчал и снова заговорил уже с легким раздражением:

— Да-с, все обстоит как нельзя лучше! Добродетельней и умней нас, право, трудно сыскать! Что ж! Вечер великолепный, воздух тепел, ночь будет ясная и тихая... Отчего ж не порассуждать. И накушались мы ко всему этому исправно... Вот только лилия что-то молчит? Ах, друзья, неприятное это, в сущности, соседство. И ведь заметьте, она всегда такая... Правда, недалеко она немного, — ну, да что ж делать! Все-таки не выигрываем мы в соседстве с ней, — ох, не выигрываем.

И жук долго-долго говорил на эту тему.

Он бичевал и себя. Он никого не жалел. Ничто не скрывалось от его пронизательности и трезвости. Но увы! уж больно щедро награждал он себя за самобичевание. Он положительно смаковал каждое свое слово.

И если бы он решился до конца быть искренним, то он непременно должен был бы еще кое-что прибавить, например, нечто в таком роде:

— Эх, и умница я, в сущности! Ведь я положительно насквозь вижу всех, ведь, собственно говоря, каждое мое слово — золото. И, боже мой! мне приходится тратить все это на совершеннейших глупцов... Где же, наконец, справедливость? Где?

<1895—1901>

II. ТРИ ПРОСЬБЫ

— Расскажите что-нибудь, Илья Абрамыч! — сказал я, ложась на теплый золотистый песок, когда мы добрались, наконец, по гремящему под ногами гравию до хорошего местечка на Алушкинском побережье.

Илья Абрамыч, маленький, толстенный караим, с загорелым лицом и веселыми глазами, сдвинул шляпу на затылок и, по обыкновению, ответил не сразу. Он только хитро улыбнулся, раздумывая о чем-то, что, очевидно, знал только он один, и вынул из кармана пиджака бутылку вина.

— Це, це, це! — сказал он, покручивая головой. — А в вине-то пробочка! Хотите? — прибавил он, держа бутылку наготове.

— Да, ведь, пробка! — ответил я нерешительно.

— Пробка, — согласился Илья Абрамыч. — Но знаете турецкую поговорку? «Дурак тот, кто бросает одеяло в огонь из-за одной блохи!»

И он лихо закинул голову назад, приставив бутылку ко рту.

Мимо нас проходили две девушки с соседних дач, англичанки, с огромной собакой, которую они купали по несколько раз. Потом с трудом протаскился по песку молодой, очевидно московский, купчик, уже полный и с одышкой, но добродушный, как хорошо упитанный теленок. И всех их Илья Абрамыч проводил веселыми, ласковыми и хитрыми в то же время глазами.

— Ну, — сказал он, внезапно оборачиваясь ко мне, — расскажу вам восточную сказку о том, о чем вы теперь думаете, — о женщинах.

Я засмеялся.

— Почему же вы замечаете, что я думаю о женщинах?

— Це! — сказал Илья Абрамыч. — Всё на свете думает только о женщинах и всё на свете для них. И всё, всё, ну, совсем всё мы тратим на них. Вот слушайте.

Он поджал ноги калачиком, положил шляпу на песок и, прикрыв глаза, начал:

«Жил-был на свете один турок, хороший, честный турок, и был он так беден, что все его добро составляла только одна жена. Трудится турок, работает самые тяжелые работы и все не может выбиться из бедности. Все идет на пищу, а что остается — на подарки жене. А жену-то он сильно любил и стыдно ему было дарить ей бедные подарки. И запечалился турок. Сидит на пороге своей избушки и вздыхает вместе с женой.

— Алла, Алла! Видишь сам, как я работаю, и никогда-то ты не исполнишь ни одной моей просьбы! Никогда-то не знал я счастья и, верно, так и умру, обойденный твоей справедливостью!

А в это время проходил по деревне пророк. Подошел он к порогу турка, услышал его жалобы и покачал головой.

— Ах, — говорит, — добрый человек, напрасно ты сетуешь на Аллаха! Не годишься ты для счастья!

— Как? — говорит турок. — Это я-то не гожусь, я, который чуть не у груди матери уже умел работать?

— Нет, — говорит пророк, — не годишься. Очень уж ты любишь жену.

Турок, знаете, даже рассердился.

— Жену люблю? Ну, так что ж? У меня и так никогда не бывало счастья в гостях, а ты еще и с женой меня хочешь поссорить?

— Напротив! — отвечает пророк, а сам этак хитро улыбается. — Я, — говорит, — пришел, чтобы помочь тебе.

— Благослови тебя бог, — говорит турок, — помоги, поскорее помоги, я, признаться, еще не ел сегодня.

— Ну, так слушай, — говорит пророк, — Аллах посылает тебе счастье. Он решил исполнить твои три просьбы. Проси о чем хочешь — все будет

исполнено. Это ли не счастье? А мы посмотрим, как ты распорядишься с своим счастьем.

И пропал. Понимаете, сказал пророк эти слова и исчез.

Боже мой! Как радовался весь вечер турок с женой!

— Ну, говорит,— заживем мы с тобой, жена!

А жена прикинулась этакой овечкой и умоляет:

— Подари мне одну просьбу!

— Согласен,— говорит турок,— я и на две остальные буду счастлив до самой смерти.

Глядь, а жена уж стоит перед ним такой красавицей, каких и во сне не увидишь.

— Что? — говорит,— хороша я? Я уж употребила в дело свою просьбу. А теперь,— говорит,— прощай. Я иду к Ибрагим-Гассану, он лучше тебя, а богат так, что ему и просить не о чем Аллаха. Теперь меня сам султан возьмет.

У турка даже в глазах помутилось от такой штуки. Как зарычит он, да как бросится на жену!

— О, Аллах! — кричит,— молю тебя, преврати ее в самую злую и безобразную жабу!

Трах — и стоит перед ним уж не красавица, а такая, как говорят у вас, Баба-Яга, что смотреть жутко! И разыгравши такую историю, стоят муж с женой и глядят друг на друга.

— Повелитель мой,— говорит жена,— вспомни прежнее, вспомни, как я любила тебя!..

Упала на колени, зарыдала в три ручья и умоляет:

— Преврати меня в прежнюю!

Не выдержал турок, вспомнил прежнее, и говорит сквозь слезы:

— Заклинаю тебя, Алла, возврати мне прежнюю жену!

И вдруг, откуда ни возьмись,— пророк.

— Аллах исполнил твою просьбу,— говорит, коснулся Бабы-Яги рукой, и стала жена турка прежняя.

— Ну,— говорит пророк,— доволен ты теперь?

— Доволен,— говорит турок и не знает, куда глаза девать от стыда.

— Распорядился ты своим счастьем? — спрашивает пророк.

А турок только рукой махнул.

— Прав ты,— говорит,— прав, святой пророк. Все ушло на женщину! И будь проклят час, когда я связался с ней!

— Хороша сказка? — прибавил Илья Абрамыч, заглядывая мне в глаза.

Я отвернулся и засмеялся. К сожалению, я в эту пору сам похож был на турка из сказки.

И мы долго лежали молча на песке. «О, милая, тонкая и наивная восточная мудрость!» — думал я, поглядывая на алеющий при закате Ай-Петри. А Илья Абрамыч делал вид, что он забыл о сказке, и причмокивал, потягивая из бутылки.

— Доброе, доброе вино! — говорил он.— О, дурак тот, кто бросает из-за одной блохи целое одеяло в огонь!

(1901)

«Курьер», М., 1901, № 172, 24 июня. Подпись: И. Бунин. Ранняя редакция первого рассказа, существенно отличающаяся от окончательной, была напечатана автором дважды, под заглавием «В летний вечер»: 1) «Орловский вестник», 1895, № 202, 2 августа, в составе цикла «Маленькие сказки»: I. «В летний вечер». II. «О милых людях»; 2) «Южное обозрение», 1898, № 589, 19 сентября; та же ранняя редакция воспроизведена в журн. «Москва», 1970, № 10.